

В ожидании рыбы

Пожалуй, с самого начала, как только въехал, он даже эту квартиру находил всего лишь вариантом еще одного аквариума – за ее одну-единственную огромную комнату, где звук сразу уходил к потолку – вниз отобразенный звучал глухо, и, чтобы лучше слышать, приходилось чуть-

чуть наклонять голову, – настигая и без того привычное ощущение плавников, в тоске, за стеклом, какого-нибудь карася, и – отсюда – едва ли не желание лечь на дно, замереть, как только кому-нибудь вздумается вырубить свет – в аквариуме. Будто получив прокол, свет за какую-то секунду вытекал, аквариум сразу набухал темнотой, пустел – только улитка, зазевавшись, все еще держала свою подошву безнадежно, набело подсосанной к стеклу, после чего отлипала и падала в темноту – и аквариум окончательно гас.

Он уже забыл, да и никогда не подсчитывал, сколько лет держит аквариум – с его мягким, всегда чуть подмытым цветом, которому уже нет языка. Но помнится, он был совсем еще малышом, когда впервые присел на корточках возле вот такого же почти аквариума. Ему нравилось упереть в него нос, затуманив стекло, и, оттирая рукавом, выбрать лучшую – чуть повернув, она подплывала ближе, чуть ли не в глаза, ослепив фиолетовым, имеющим неслыханно, невозможно высокий тон, – она! Свою вуаль она таскала, будто где-то ее подобрал – та жила отдельно, облаком, всегда в стороне тяжеловатого в движении тела. Легче всего ее было узнать именно по движению, если, конечно, не считать цвета, первого, что оживало в памяти.

Аквариум всегда был для него не столько зоопарком, сколько палитрой – хотя когда-то, в далеком его детстве, он терпеть не мог ни того ни другого. Один вид его вызывал в нем желание взболтать – и, бывало, болтал рукой, брезгливо наблюдая, как цветная мелюзга его дает в углы и там оседает. Хотелось локтем садануть в стекло – утоляя свое простое чувство ко всему этому, как, впрочем, ко всей этой солнечной цветной Азии-Африке с их пробковыми деревьями, особым профилем листвы, желтизною пустынь, где на высоком бархане уже изогнут варан...

Когда в малышах ему подарили нечто подобное, в крупных иллюстрациях, заставили поблагодарить – ему уже ничего не оставалось, и потом, через день, забравшись в пыльные лопухи, за сараи, и сладко чувствуя себя насильником, он, раздвинув девственные страницы, пустил внутрь струю – в помощь саванному баобабу, заодно добавив влаги отчаянно синему морю, плескавшемуся на странице рядом. На следующий день он тайком привел сюда же соседскую малышку, сам помог ей спустить трусики и жадно смотрел, как, послушно присев над книгой, она добавила морю еще несколько капель невинной своей влаги.

Все раскрылось, и он был поставлен в угол, хотя лихо врал, что том был украден. Ну и чуть позже каким-то из невыносимых родственников ему был преподнесен и аквариум – собственная, будто подвешенная в воздухе бесконечная капля воды, взятая в стекло. Из глубины неторопливо выплывали оранжевые рыбы с измятыми плавниками, тыкались близоруко...

Он брезгливо следил за переливами цвета в его глубине; отходил же набитый всем этим под завязку: он и передвигаться тут начинал как бы растолстев – боком.

Поначалу аквариум находился в оккупации роя цветной мелюзги, и только потом туда же выпустили ту самую рыбу – огромная фиолетовая глыба, одетая в тончайший морской туман: она тихим килограммом прошла перед ним, двинула хвостом, ткнулась в водоросль. По вечерам он, и сам не заметив – как, бывало, начинал вдруг давать круги вокруг приплюснутой линзы аквариума – рыба то пряталась за глиняный наплыв крепостенки, то медленно обозначалась у самого стекла, шевеля губами и никак не моргая сплошным слюдяным глазом, охваченным ободком. Изнемогая, он следил за ней то одним, то другим глазом, то обоими сразу, иногда сводя их к переносью:

аквариум множил грани, рыба вздрагивала и давала копию. Прочая бойкая распаренная мелюзга то размыто общим пятном зависала в воде, то слаженно стайкой двигалась вдоль стекла: будто одну из них заловили – и не выпускают – в зеркала.

Каким-то юннатом он был научен давать корм – бледно-коричневую труху с названием, от которого в комнате эхом шарахался медицинский кабинет. Сыпать надо было строгими порциями, аквариум оживал, мелюзга лихо пикировала на корм в нарушение всех геометрий – снизу вверх. Фиолетовая пускалась в круги и, замыкая каждое кольцо, давала точный механический рывок.

Все началось с того, что как-то после корма он выдал их юннатову коту. Фиолетовая что есть силы плескала в ладошке хвостом, когда, уже последней, он ее выудил. Возникло было краткое сожаление, но кот уже урчал, гнул спину, давал дыбом мокрую шерсть. Когда он потягиваясь отошел, она была почти нетронутой – но вуаль липла к полу, тушка стала бледна.

Был скандал, он обещал, аквариум придавал некоторое время комнате особую пустоту, но рыбы были уже куплены и чуть ли не в пути – дядюшка пускал в письме длинную слезу, но был тверд, – когда их обиталище странным образом опрокинулось и, треснув, затонуло у стола в собственной же воде, отбросив на него сухую тень подозрения. Но не более чем подозрения, ибо это и в самом деле был не он: будто аквариум, почуяв неладное, из жалости ко вновь ожидаемым жертвам покончил жизнь самоубийством, казалось бы, навсегда закрывал тему. Осколки были убраны, забыты, но именно вскоре после этого он впервые ощутил себя не то чтобы рыбой, но все-таки – тогда он был оставлен дома ушедшими в гости, внезапно погас свет, не найдена свеча, а он совсем не ощутил в себе страха: только легкое ощущение

плавников, желание лечь на дно, глотнуть темной воды... У него появилась привычка немигающего взгляда, по вечерам хотелось тронуть невидимый плавник, он странно замирал на вид любой какой-нибудь на блюдо поверженной селедки. С прихваченным дыханием проходил мимо места самоубийства посуды – вспоминая усопших, он рисовал их себе одними красными и желтыми мазками в голубой воде, пускал водоросль и заставлял последний мазок в ней запутаться: рыба замирала пугающе резко и, пожалуй, тянула на точку во всей этой яркой, под глянец, картине.

Его мучительно стало тянуть к любой воде, к любой луже воды – и он, бывало, увидев ее, как в туман, брел в самую середину, – по обыкновению стояла осень, сыпались листья, и откуда-то уже неслась к нему с криком его живая растрепанная мать. Он чудовищно пил воду, казалось – разбухал, и мучительно страдал пузырем – это чувство стремительно будило его по ночам, вело в туалет, весь пропитанный желтым светом лампы, и, казалось, со струей сладостно исходит из него сама душа – в легкие объятия холодного овала.

На прогулки одного его уже не выпускали, иначе приходил с добротной промоченной обувью и уже подхваченной простудой, коей, впрочем, не брезговал – любил влагу везде, даже в собственном носу, и, казалось, вся дюжина его носовых платков в любой момент осени содержала эту самую слякоть, им доверенную. Порой в сопровождающие выпускалась соседская девчонка – в красном, торопливо сдвинутом берете, с ровной челкой и забавно приоткрытым ртом. Они шумно двигались в парке по геометрической дорожке, облитой асфальтом, и, пройдя несколько раз центральный фонтан в виде мерзлого, уже лишённого струи гипсового караса, возвращались. Она была чуть ли не его одноклассницей, но

из-за болезни он почти год не учился, пропустил класс, приходившим в гости любил показывать рисунки – рыбы и водоросль, которую он выводил особенно трепетной.

Пожалуй, он все же помнил, как после очередных консультаций с психиатром, в которые он не был посвящаем, аквариум появился у него вновь – громадный, с отвесным стеклом намытых стенок, поперек дядиного живота. Вновь были закуплены экземпляры – все тот же рой, уже живая, не нарисованная водоросль. Поначалу он пытался было с них рисовать, но так и застывал с карандашом – на час и три, пока не хлопала входная дверь и из прихожей являлся слуху дающий зигзаги, паникующий стен голос. Может быть, он знал еще тогда, что аквариум у него теперь не столько на те краткие часы выздоровления, сколько на долгие годы его болезни: именно выздоровев, он понял, что болезнь только началась.

На день рождения ему была подарена целая полка аквариумных книг: от ветхих российских, начала века, до последних английских изданий – с почти живыми фотографиями. Конечно, он сразу узнал ее – в желтом кругу лампы, распластанная на фотографии, она дрожала фиолетовым овалом на странице, сразу воскресшая, чуть ли не более живая, чем прежде – хотя бы потому, что наконец-то она замерла под его взглядом, не оплывая контуром, давая четкий, хорошо оконченный профиль. Он принялся за язык, к университету читал книгу почти свободно и текст, поданный к иллюстрации, заучил почти наизусть. Самой большой похвалой, на которую англичанин ей оказался способным, было признание хронической редкости экземпляра. Он подсчитывал то рекордное количество их единиц, заманенных Англией в свои аквариумы, далее автор обращал взор к Европе, задумчиво замахивался на Америку и, даже не вспоминая Россию, правил стопы в Африку, к истокам – и тут англичанин был неправ. Об

этом фиолетовом овале он вспоминал сразу после болезни, с любой чернильницы, даже фиолетового пятна промокашки – где-нибудь на перемене, но не было ни тоски, ни боли, ничего такого – просто фиолетовая капля, чуть видно перемещающаяся вдоль стекла.

С книг все и началось – целой полки замерших в несомненном братстве книг: он отнимал какую-нибудь, брал наугад страницу... Как ему представлялось, повезло со старичком-покойничком, безымянным любителем плавников не только на блюде. Эклибрис был размыт, нечеток – даже здесь чувствовалась любовь к воде, – являл вензелем некий рыбный знак, кольцующий инициалы: виделась библиотека, если и не проданная всем шкапом наследниками сразу, то уж точно распотрошенная ими уже на третьи сутки.

По окончании школы та самая девочка, красный берет набекрень, в свое время увлеченно таскавшая его по аллее мимо унылого гипса, на целый год или даже два вышла за него замуж, но за все это время у него было всего лишь несколько минут, когда она была дорога, по-настоящему для него дорога – в постели, когда вырывалась из его рук лишь для того, чтобы через пару мгновений, словив его в вилку распущенных ног, снова поймать его карася в свой нежный, влажный, утопленный в ночном мху капканишко, и никакой силе он не позволил бы вытащить его обратно, пока карась по-свойски, в ритм выдавал этой рыбачке запрошенное. У нее были те самые приоткрытые рыбы губы – но ей далеко было до хищницы, когда она забирала карася в рот, – и рыбаком уже был он, чувствуя, как на конце удочки его трепещет, мечется и плачет лучшая рыба этого водоема, – ее голова скользила у него в руках, вдруг все будто попадало под вспышку, и он толчками, до капли отдавал ей свой так сладко заструившийся восторг. Карасем все и заканчивалось.

Под инерцией удачной ловли она еще возвращала ему утром поцелуй, день означал быт, он весь уходил в аквариум, иногда запираясь в комнате, – и, бывало, находил ее плачущей, забивавшейся с ногами в какой-нибудь диван. Рядом, лицом вниз, удрученно лежал покинутый том – из тех библиотечных, пухлых, где добродушен толстяк-герой, чувствительна его дочь и безукоризнен в смокинге молодой Смит. Именно по-британски, не прощаясь, разворошив в его отсутствие платяной шкаф, она от него ушла – последний раз он видел ее в суде.

Его новая квартира и представляла собой тот самый куб, где звук, паникуя, сразу уходил к потолку. Он стал замкнут, единственным его человеком была вдвое старше соседка, любительница аквариумов из квартиры напротив. Ее маленький, округлый, вызеленившийся аквариум был трогательно беременен вечной полудюжиной простейших гупий: постоянство этих рыб быть везде. В квартире ее всегда пахло водорослью, старой мебелью, он по дружбе доставал ей корм – и иногда метал ей карася, пусть и не глядя на ее уже поплывшее, влажноватое в постели тело, он меньше всего понимал ту самую, еще измятую страстью простынь.

Фиолетовую он возвратил почти случайно. Он долго делал рейды в провинцию – в поисках той самой, – вторгался в какие-то квартиры, выпытывал у знатоков, не считая себя таковым и близко, брал какие-то адреса. Мальком он обнаружил ее у кого-то в отсаднике – тот, по-мальчишески увлеченный, двигался вдоль стекла – занял, наконец, денег. Малек был нетороплив на рост, в очередь прибавлял в членах – вдруг вытягивался хвост, затем следовал спинной плавник, после чего чудовищно увеличивалась голова, – плюс это упоительное, летящее в душу предчувствие фиолетового. Вначале это был просто бледно-нежный фиолетовый оттенок, впрочем, сразу

вносивший какое-то беспокойство в аквариум; вода стала как бы мягче, водоросль бежала чувствительней, размывалась и обмякла крепость. Мало-помалу в профиль она постепенно явила овал, стала выпускать вуаль – и уже так же умела плыть миллиметром в час, чуть подзапустив ее впереди себя. Только цветом она не менялась в течение всех этих лет, оставаясь все в том же тоне телесно-фиолетового – пока стремительно, всего за один день, в его отсутствие, не потемнела: когда он вернулся, в аквариуме, в комнате все будто застыло в этом ослепительном, чистейше фиолетовом тоне – как и когда-то, между ними, казалось, теперь оставалось одно стекло.

Вспоминалась какая-то передача – бегущая волна, мальчик, дельфин. Мальчик был совсем юн и, стало быть, гол, – а дельфин в размерах и добродушен; малыш в экране не раз торопливо куда-то уплывал, дельфин мощно рассекал воду рядом, давал круги, ожидая своего, и – наконец – для малыша все заканчивалось крепким его плавником. Бывало, в заполненной ванне он уже видел – как он несет ее во влажных ладонях, опускает в воду, и та по-щенячьи трется о бедро и льнет к груди. Себя он представлял сидящим голышом, дающим ей под водой с руки корм. Ванну хотелось залить едва ли не илом – ему всегда казалось, что он любит давить седлом мягкий придонный ил, – но пришлось ограничиться галькой, намытой за городом.

Он почти неделю готовил воду. С вуалью она уже давала размер ладони и заметно оттягивала сачок. Он принял душ у соседки и, отказавшись от чая, сразу ушел к себе. Фиолетовая, уже успокоившись, замерла у самого дна – он уронил куда-то в пространство халат и осторожно, без плеска, за ногой вошел в воду. То первое время, что она привыкала к нему, боялся шевельнуться, только подтягивая изредка к подбородку огромные в воде ступ-

ни, – галька гулко скребла по дну, и она настороженно замирала. Он ни разу не заболел, хотя от холодной воды сразу перехватывало дыхание, потом почти привык, бывало, даже ловил несколько минут сна – именно во сне он впервые почувствовал ее возле себя. Ему даже не надо было открывать глаза, чтобы увидеть, как она дрожит в каком-то сантиметре от него, – он чувствовал, как струится вода под ее плавниками, она опускалась все ниже и ниже – и вместе с ней опускалось туда же все его наслаждение.

Вскоре она стала брать корм, еще не с рук – он сыпал порцию на поверхность, и последнюю крошку, набухшую, шедшую ко дну, она азартно добирала уже у самого его живота – и он переживал несколько ярких минут. С хорошо отретпетированной медлительностью, едва двигая облаком, она поднималась к поверхности и, будто обжегшись воздухом, стремительно уходила обратно в глубину. Бывало, гоня крошку, она заставляла ее совсем в паху и даже ниже – легко работала плавниками и увлеченно пыталась углубиться в заросли, – он лежал не шелохнувшись, задерживая дыхание за естественным, как порыв ветра, движением его карася. Рыба увлеченно отлавливала крошку под самым изваянием его – будто отлитым из гипса, – как бы не обратив внимания на рывок этой штуки и мягко проскользнув от низу, брала вверх, карась его отвечал взаимностью – и эта пара, легко отделившись от его тела, уверенно направлялась в океан: она всем облаком своим замирала на вершинке, и стоило ей соскользнуть с нее, как фокусник, сдернув свою вуаль, – он, не в состоянии более сдерживать, давал волю всему этому, – толчками, поднимая муть, бил, наконец, фонтан.

Просто, даже как-то буднично он совершил убийство – в очередное посещение ванной, когда фокус мучительно не удавался и она как-то неловко сунулась между истом-

ленным карасем и его рукой: он грубо притиснул ее к нему, она забилась, и он сладко подумал, что, похоже, насилует. Свое он тогда получил, но почти сразу после этого обнаружил ее бледной, будто выжатой, вверх брюхом, медленно смещающейся хвостом вперед.

За окном начинались дожди, земля в парке, стоило ее копнуть, являла лужу, и рыба всплывала брюхом. Он обрушил на нее ломоть песка, примял лопаточкой и уложил дерн на место. Аквариум казался больным, замерла и оттопырилась где-то у поверхности свита – он горстью отнес ее соседке. Оставался аквариум – стоило выключить свет, как он, пустой, медленно плыл по комнате, в висках ахала тишина, хотелось то ли под одеяло, то ли из-под него совсем – и тогда он простежки сидел на подоконнике, в одной пижаме, бос. Именно тогда к нему стало возвращаться то почти забытое ощущение спинных плавников, вообще – желтобрюхой, с фиолетовой подпалиной рыбы, выброшенной на отмель, – он чувствовал едва ли не берег, песок, уже налипший. Это возникало ночью, он вдруг открывал глаза – луна тонула в паркете, плыл же и никак не топ аквариум, и даже шкаф, едва слышно выступающий из стены, и росший прямо из паркета стул у изголовья, на котором еще тикали часы и была одежда, – и тут его прихватывало этим покоем, аквариум ширился и заполнял всю комнату, он, чуть шевельнув плавниками, оказывался над крепостью – и она медленно уплывала под него. Воздух охватывало серебром, что-то шелестело – он порывался ответить шепотом, и за всем этим что-то дрожало и маячило в высоте – казалось, потолок – и было готово рухнуть. Когда он поднялся с постели, комната уже прочно оцепенела в тишине, темнота вошла и осела сразу кубом, лишь с края чуть разбавленная луной. К аквариуму он шел на ощупь, бесшумно блеснуло зеркало, и он увидел свежий обмылок своего тела, остановил-

ся – сухой, нелепый, получив неожиданное желание назидательно вздеть палец, – даже почувствовав себя уже этим самым перстом, – он стоял, белая всем своим парусом, – черный провал трусов, руки плетьюми, сутулость. Он вздрогнул, когда рука полезла чесать лопатку, хотя не чувствовал зуда, как не почувствовал и чеса. Подобравшись к краю, он заглянул в аквариум – в лицо, казалось, дохнул бриз, зашевелил прядь – ощущение вышки, гибкой доски под ногой, ждущей внизу воды, – предчувствие прыжка, кульбита, полета, казалось, даже возникли, заполнились, замерли внизу трибуны, и, устроившись поудобнее, замер с карандашом в руке над блокнотом судья, – и кто-то уже кричит вдалеке свое нетерпеливое: «Пошел!»

Донос

Больше всего в своей жизни Гардаев любил тишину. Вечер переходил в ночь, предстояло много писать, он зажег лампу – тень от настольного прибора напомнила ухо, – такие вот, полные тишины минуты, ему всегда нравились особенно. Хорошо размышлять, откинувшись на стуле, рассеянно глядя на тот, еще не начатый, но уже готовый чутко откликнуться перу лист.

Особенно много ему приходилось писать в последнее время – таинственно улыбаясь, строка почти непрерывно, иногда только отрываясь, чтобы склонить чутко голову: словно бы вслушиваясь в даль.

Гардаев взглянул на репродукцию над столом – человек в строгом френче, словно понимая важность момента, повернулся профилем – и казалось, совсем не случайно на портрете вождя ухо было изображено так

тщательно. Если взглянуть на его трубку повнимательней, то увидишь, что концом ее он указывает на ухо. Он словно бы намекает: прислушивайся, хорошенько прислушивайся ко всему, что вокруг тебя происходит, – ведь для этого всего-то и необходимо, что пара чутких ушей.

И, кроме того, хороший почерк, – добавлял Гардаев уже от себя. Несомненно, это та самая в его работе мелочь, которой по-прежнему следовало уделять внимание особое. Круглые, крупные, ровные буквы: это то, что вызывает особое к себе доверие, и хорошо, что ему удалось понять истину эту с самого начала.

Этот почерк сохранился у него еще со школы, впрочем, стал он таким далеко не сразу. Он помнит, как в начальных классах стоял на уроках писания у доски, как чутко подрагивал под рукой его мелок, и буквы, словно торопясь, порой друг на друга наезжали. Вере Ильиничне пришлось изрядно тогда с ним повозиться, но все-таки ей удалось сделать из него, как она выражалась, настоящего каллиграфа.

Правда, когда он на работу в управление только поступил – это было несколько лет назад, – Гардаев чуть было не потерял тот ставший знаменитым на всю школу почерк.

Это было бы катастрофой – все равно что певцу потерять свой голос. Карьера доносчика во многом зависит от его письма – печатными машинками пользоваться запрещали из опасения, что могут образоваться ненужные копии, – и поэтому он хорошо помнит то время, когда его почерк, сразу же после первых донесений, буквально взламывало изнутри. Будто кто-то невидимый – он с опаской поглядывал на портрет – властно вторгался в его сознание.

Письмо его стало каким-то взъерошенным, приплюснутым, нервным, будто, соскочив с кончика пера, по бе-

лому листу бумаги слева направо, сверху вниз, пригибаясь бежит плюгавый чернильный человечек, и ему так не терпится добежать наконец до конца страницы.

Благодушно сейчас ухмыляясь, Гардаев думал, что еще немного – и его списали бы за профнепригодность, потому что такой почерк почти невозможно было разобрать даже тем, в управлении, людям, которым платят именно за это: за умение понимать и самое скверное письмо.

Быть может, тогда многое сложилось бы по-другому – и не только в его судьбе.

Впрочем, потом он узнал, что каракули – почти неизбежное отличие этого нового его занятия. В конце концов это дело, которое прежде всего требует пары хороших ушей, и, должно быть, рано или поздно почерк там портится у всех – и потому-то, ему казалось, его коллегам по-настоящему не доверяли никогда.

Вообще-то, как он понимал, таким не особенно принято доверять.

Кажется, Гардаев был единственным в управлении, кто не смирился с изменением письма – прежде всего из-за того, что сразу осознал, что без хорошего почерка он быстро станет здесь рядовым, как и все, доносчиком – и каким-то волевым усилием он его все-таки вернул. Это была двойная его победа, потому что именно после этого он был в управлении выделен среди прочих: и он нисколько не сомневался, что во многом благодаря письму. Ведь крупные, круглые буквы во все времена вызывали ощущение правды, – а в первое время ему так не хватало к своим доносам именно доверия.

Сегодня он писал всю ночь, аккуратно нумеруя и раскладывая листы по всему столу. Всегда текстом вверх – он заметил, что ночью те особые чернила, что выдавали ему

в управлении, сохнут куда дольше обычного. Он соберет их, как только брызнет на исписанные страницы жидкий рассвет и чернила высохнут окончательно: моментально, как слезы у ребенка.

После полудня он должен быть на явочной квартире, строго в назначенное время, с глухой аккуратной папочкой, да так, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания.

Но, собственно, трудно было привлечь чье-либо внимание в этом тихом, почти вымершем, казалось, здании. Внешне это был самый обычный жилой дом, ситцевые занавески на окнах. Но только Гардаев ни разу не видел, чтобы они всколыхнулись. Должно быть – если в доме и в самом деле есть жильцы, – все в нем давно привыкли ходить на цыпочках, особенно соседи той квартиры, где завтра в полдень его будут ждать – и в этот раз, должно быть, с особенным нетерпением.

Если говорить о его стремительной в управлении карьере, то главной причиной было все же не столько ясное его письмо, сколько совершенно особенный слух. В те времена, когда его мать имела обыкновение за малейшую провинность выкручивать ему ухо, вряд ли кто-либо мог себе представить, какое сокровище собой представляет пара этих невзрачных, чуть оттопыренных, как и у большинства дворовых пацанов, ушей. Да и сам он тогда это не вполне осознавал, хотя порой было из-за чего недоумевать. В полдень на крепости за рекой была пушка, и ему казалось странным, что дворовые приятели его все как один видели вначале вылетающий из пушки дымок, и только потом до них долетал звук выстрела. Для него, сколько помнит, вечно все было наоборот – вначале гремел далекий выстрел, и только потом над пушкой взметался белый, просто молочный – как всегда, когда палят холостыми – дымок.

Тогда он старался не обращать на это внимания, хотя, конечно, и неприятно бывало осознавать, что с головой, скорее всего, не все в порядке. Уже за несколько мгновений до того, как мать открывала рот, маленький Гардаев вдруг понимал, что она собиралась сказать, но убеждал себя, что, в общем, в этом-то нет ничего страшного. Это бывает даже удобно, особенно если не забываться и не спешить с ответом.

До того времени, когда его уши понадобились на службу управлению, он уже почти привык к тому, что, бывает, звук доходит до него несколько раньше самого события. Привыкнуть к этому было не так уж просто хотя бы потому, что со временем его способности только развивались. Казалось, событие и сопровождающий его звук в голове Гардаева существуют отдельно, и со временем пропасть между ними только увеличивалась. К своему семнадцатилетию ему достаточно было уже просто подумать о человеке, как тут же его посещали несколько фраз, обычно самых ключевых, из будущего с ним разговора. Еще через несколько лет это стало почти невыносимым. Гардаев был в курсе самых сокровенных дум своих друзей, на улице он легко прочитывал мысли пешеходов, еще не успевших даже попасться ему на пути – нет ничего ужаснее женщины, рассеянно размышляющей о своем, – он разочаровался даже в родных, как-то от всех отдалился и однажды понял, что остается в этом мире совсем один.

Он помнит, как чуть не сошел с ума, когда узнал, что жена ему изменяет. Ее голос, томительный и всхлипывающий, внезапно слетал ему среди бела дня, казалось, откуда-то с небес, вперемешку с похотливым мужским говорком. Первое время все это никак не укладывалось в его голове.

Эти голоса почти без перерыва преследовали его несколько дней, а жена, похоже, и сама еще не подозрева-

ла, что с ней случится что-либо подобное. Кажется, она даже удивлялась, почему он был так с нею мягок в их последнем, расставившем все точки разговоре, – и Гардаев, как обычно, знал содержание их беседы уже за несколько дней до того, как она случилась.

Произошедшее словно сломало в нем какую-то перегородку, и если раньше голоса в голове его возникали все же скорее эпизодически, то после развода с женой звуки из будущего хлынули в него сплошным потоком. Он слышал голоса и просто чьи-то мысли. До него доносились дальше ржание лошадей, шаги, скрип дверей и по утрам – пение неведомых птиц. Его веселил чей-то смех, но тут же тенью могло посетить чужое горе. Голоса были знакомые и нет, одни могли вселить в него надежду, другие грубо подминали под себя – и все это за дни, недели, годы и иногда, кажется, целые столетия до того, как им должно было прозвучать. Как пустой сосуд, они заполняли его с утра – и, пожалуй, только во снах мир его оставался совершенно беззвучным.

Но главное, все меньше и меньше в этой какофонии было его собственного будущего.

От того, что мир для него так сразу преобразился, поначалу было немного не по себе. Сколько в нем оказалось невидимых ям, и как часто не совпадало то, что приходилось ему слышать, с тем, что приходилось после этого наблюдать. Ему просто бы никто не поверил, если бы он вздумал кому-нибудь пересказать хоть малую часть того, что приходилось слышать каждый день. Все это было только частью айсберга, но он был почти уверен, что теперь в его силах уловить и любое слово из тех, что когда-либо в этом мире будут произнесены: достаточно только захотеть.

Судьба даровала ему сразу два выделивших его среди прочих таланта – слух и каллиграфический почерк, – и од-

нажды ему подумалось, что, вероятно, это можно было бы соединить вместе. Когда он впервые очутился в управлении, он понял, что не ошибся: это были единственные люди, сразу проявившие к нему, пусть и чуть сдержанный – как всегда у них, – но все же действительно неподдельный интерес. Правда, когда у него стал внезапно меняться почерк, он чуть было от них не ушел, но вовремя уловил вдруг в голосах из будущего несколько тревожных для себя нот и понял, что так просто отсюда уже не уйти. К тому же ему добродушно было объяснено, что здесь у новичков так всегда. Это все равно что у ребенка выпадают молочные зубы и взамен вырастают более сильные и крепкие – пусть, правда, и не такие милые.

Первое время в управлении было вообще полно любителей поострить над ним – если бы они знали, что любому балагуру он за несколько дней может сообщить содержание будущей шутки! Над ним подтрунивали из-за ломающегося почерка, впрочем, традиционного здесь повода для острот над новичками, но все же главным объектом шуток были первые его донесения из будущего: но только поначалу.

Вначале и у него самого холодело, бывало, сердце за тех людей, чьи голоса из завтрашних дней он аккуратным почерком заносил на бумагу, – тех несчастных, над кем витало уже клеймо не совершенного еще проступка. Они не могли знать, что их будущие грехи уже зафиксированы – теми особыми фиолетовыми чернилами, что выдают в управлении – каким-то совершенно им неизвестным, чересчур чутким человеком. В управлении работали люди с железными нервами, но и им становилось не по себе от тех донесений, что приносил Гардаев, – вот тогда-то понемногу и приумолкли все эти остряки.

Гардаев быстро стал незаменимым в управлении человеком. Он сообщал дату и время, и им только оставалось,

подъехав в специальной машине к указанному месту и безразлично поглядывая на часы, немного подождать.

Справившись с первым волнением, он больше никогда не жалел своих жертв. У революции было много врагов, и самым страшным из них, без сомнения, был тот тихий, осуждающий на кухне свою власть, обыватель. Их всех брали в точно назначенное время и выводили к черной машине с совершенно белыми от страха лицами: настолько бледными, что в сумерках надвигающейся ночи вполне могло возникнуть впечатление, что они конвоируются в одном только нижнем белье. Их хватали за фразы, произнесенные минутой назад, – доверительно, в тесном кружке своих. Некоторые пытались даже молиться, потому что ничего не понимали. Высказавшись, говорун не успевал и потянуться к чашке с подостывшим чаем, как решительно звонили в дверь – и трясущиеся свидетели тут же охотно все подтверждали. Для многих из них, впрочем, крамольные эти фразочки действительно были случайными – и позже дрожащими голосками они пытались следователя в этом уверить, – но вот именно этих-то Гардаев вписывал в свои листочки с особой тщательностью.

Когда звуки будущего водопадом обрушились на него, он понял, что в этом мире нет ничего страшнее случайных фраз: именно в них начало всех, кажется, несчастий. Потому-то Гардаев и не жалел их. Каждый должен быть готов призванным быть к ответу за любую из своих, пусть даже случайно произнесенных, фраз – и сделать это способен порой только он, Гардаев: для этого ему достаточно записать ее, отменным почерком каллиграфа, в тех серых утренних своих листочках.

О каждой своей жертве он успевал узнать за ночь многое: чаще всего этим людям до героев было далековато. И, как ухмыляясь думал Гардаев, разве не скромный труд доносчика делает этих людей в глазах оставшихся на сво-

боде таковыми? Людьюми нескольких только героических фраз, потому что все остальное – слабости, совершенные некогда подлости и дурные привычки – после того, как за ними приезжала ночью машина, сразу отодвигалось на второй план.

Он хорошо поработал: человек с портрета, чуть прищурившись, смотрел на листочки и, казалось, был готов одобрительно кивнуть головой. Небо за окном светлело, когда он собрал исписанные страницы и, как обычно, скрепил их скрепкой. Когда-то в коробочке их была сотня, а осталось совсем немного, не больше десяти: за годы работы на управление он потрудился неплохо. Правда, пустота в коробке со скрепками иной раз даже немного его страшила – будто другую ему уже и не получить. Гардаеву почему-то казалось, что есть своя опасность в преодолении этого рубежа: будто бы и твоя собственная судьба может закончиться вместе вот с этими быстро тающими в коробке скрепками.

Последний случай был самым, может быть, непростым за всю карьеру: Гардаев знал, что новая его жертва нередко бывала в том самом кабинете, хозяином которого, как известно, был именно тот, с портрета, человек с трубкой. В управлении даже не стали показывать ему, как это бывало обычно, фотографию – просто перегнулись через стол и шепнули на ухо фамилию. Наверное, не найти было в стране человека, кто бы не знал по многочисленным портретам этого человека в лицо. В управлении, особенно в последнее время, успели привыкнуть и к таким – конечно, здесь не могли не гордиться тем, что люди такого высокого положения простыми арестантами проходят через их кабинеты, – и все-таки поначалу Гардаеву стало не по себе. Все-таки с людьюми столь высокого положения ему не приходилось еще работать. Заказ мог прийти

только оттуда, из того же президиума, от кого-нибудь из тех, кто сидит с ним за одним столом. Может, даже еще выше – на него незаметно указали трубкой. Недаром человек с портрета на стене так внимательно посматривает на эти листочки.

До этого Гардаев мало что о нем знал – фамилию, несколько ярких фактов из биографии и некоторые подробности его круглого на стандартном портрете лица. Пожалуй, он даже не смог бы с уверенностью назвать нынешний его пост – но это был человек того короткого партийного списка, что начинался человеком с трубкой. Кажется, этот список почти не менялся в последние годы, его состав как-то сам собой утвердился в памяти из газетных передовиц, и Гардаев мог бы отбарабанить его наизусть хоть сейчас, может, только слегка путая очередность фамилий: и если он сделает все, что от него ждали, этот список немного сократится – или нет, просто станет немного другим. Ему вспомнилось, что все эти фамилии есть и во вчерашней газете – на первой странице, там, где отчет с какого-то торжественного заседания. Если внимательно присмотреться, то, наверное, лицо этого человека легко можно будет узнать на групповом снимке президиума, где-нибудь ближе к краю. Он взял газету в руки. Крошечное на фотографии лицо, доброжелательно глядящее в зал, где суетится со вспышкой этот корреспондент из газеты.

Гардаев придвинул передовицу ближе к глазам. Он бессилён был перед прошлым – даже если это только вчерашний день, – это было тем единственным местом, куда этот человек мог бы, пожалуй, сейчас от него сбежать. Но только вряд ли такое по силам даже тому, на портрете, всевластному человеку с трубкой.

Гардаеву вдруг захотелось услышать сейчас это заседание, чью-нибудь спокойную, монотонную речь, дале-

кое покашливание в зале, аплодисменты, но громче всего – легкий скрип стула под нынешним его клиентом: так, будто Гардаев присел незаметно за ним на корточках.

Гардаева охватило жгучее желание побывать на заседании – отчет о котором газеты дали только вчера – и, может быть, проникнуть за этим человеком в прошлое еще глубже, туда, где осталось его детство. Его всегда интересовало, какими они были детьми. Как и все, наверное, они громко ревели, трогательно говорили «мама» и наотрез отказывались есть кашу. Вероятно, в свое время это были самые послушные дети, верхом геройства которых была кнопка на стул учителю. Постепенно и осторожно они обходили всех и, наконец, рывком врывались на фотографии газетных передовиц. Собственно, это и был его контингент – все те, кто, пусть хотя бы изредка, попадает на страницы газет.

Но только вот проникнуть в прошлое не удавалось ему никогда. Даже сейчас, чуть напрягшись, он мог совершенно отчетливо почувствовать эту черную глухую волну времени, устремленную из прошлого, и то, как беспрерывно она накатывает на какофонию хрупких звуков сегодняшнего дня. Прошлое было главным врагом Гардаева, оно неутолимо заглатывало все – и только то, что успевал он уловить, и осталось, оседало поблескивающими обломками на самое дно памяти.

Вчера вечером, настраиваясь на образ этого человека, он, как обычно, посидел для начала несколько минут с закрытыми глазами. Главное – ясно представить его лицо. Надо полностью себя очистить от всего постороннего, и после этого останется только немного подождать. Будущее заполняло его постепенно, откуда-то снизу, как бы некий резервуар, и только покалывало слегка в подошвах.

Когда погружаешься в него весь, вдруг возникает какое-то зыбкое сероватое пространство. Он прислушался и как-то внезапно услышал чьи-то торопливые по ночной улице шаги.

Для того, кто умеет вслушиваться, любой звук ночью – как вспышка света. Достаточно его клиенту даже легонечко кашлянуть – будто в темноте на мгновение вспыхнула спичка – и можно легко увидеть, что творится сейчас вокруг.

Человек шел один, без охраны – каковая ему по рангу, конечно, полагалась, – видно, и в самом деле назревало что-то особое. Ночью звук плотнее: ему казалось, что все эти звуки с сумерками, словно отяжелев, просто опускаются вниз, к мостовой. По звукам Гардаев определил, что улица идет вниз; вот она свернула – сразу стало темней, и человек зашагал заметно осторожнее.

В докладе Гардаеву не составило труда привести название улицы и номер дома: ему показалось даже, что здесь он раньше уже бывал. Время он, как обычно, извлек из приглушенного грома наручных его часов. Было около одиннадцати часов вечера, дело двигалось, кажется, к дождю. Ему доносился шелест листьев – настолько отчетливый, что он мог бы пересчитать все эти деревья. Мелькнула впереди парочка – парень в пиджаке и девушка, одетая слишком легко, в ситцевое в горошек платье. По инструкции их потом допросят – конечно, они должны были заметить поздно вечером человека, быстро прошагавшего мимо, – и отпустят. Но вряд ли парочка смогла бы заметить и ту странную, изломанную, следующую неотступно за ним тень.

Наконец, внезапно – когда вооружен только слухом, все происходящее бывает неожиданней – улица переросла в какой-то подъезд, и, чуть сбитый с толку, Гардаев подумал вначале, что человек спускается в подвал.

Когда в твоём распоряжении только слух, куда труднее определять векторы передвижений, но в конечном итоге он никогда не ошибался: разумеется, тот человек поднимался теперь по лестнице. Иногда ему казалось, что у всех обреченных задолго поселяется на душе ощущение тревоги, во всяком случае, Гардаев отчетливо вдруг ощутил сейчас будто бы легкую переминку в его движении, некое изменение ноты. словно человек остановился, оглянулся и снова пошел дальше, но уже не так уверенно: изменился даже звук его шагов. Человек шел сейчас осторожней, как бы прислушиваясь к собственной ходьбе – или, может быть, пытаюсь поймать на случайном шорохе того, кто за ним наблюдает. Гардаеву это было знакомо: большинство его клиентов обычно чувствовало себя так же неуютно.

Гардаев записал на третьей странице, что дверь ему – но если быть точным совсем, то им обоим – открыла высокая, красивая женщина на каблуках: и, несомненно, ждала она сейчас только одного. Правда, вряд ли кого в управлении заинтересовала бы красота этой женщины. Там куда больше ценили подробности разговора – особенно те случайные фразы, что всегда вырываются внезапно, как бы на грани отчаяния. Или хотя бы сведения о том, чем они занимались, когда слов между ними уже не оставалось. Из подробностей внешности там могли заинтересоваться разве что особыми приметами: родинка, какой-нибудь шрамик или золотые во рту зубы.

О том, что в квартире больше никого не было, он без труда определил по той едва уловимой разнице в плотности звука: если бы в квартире кто-нибудь был бы еще, он был бы гуще, и тогда Гардаев с легкостью описал бы того, притаившегося, скажем, в задней комнате человека. Правда, сейчас единственным здесь незванным гостем, похоже, оказался он сам.

Признаться, за ними он решился последовать не сразу. Его перо повело почему-то в соседнюю комнату – по лихорадочному в ней беспорядку он определил, что женщина из тех, кто склонен, вдруг впадая в отчаяние, в последнюю минуту переменить все. Прическу, платье, слишком тесные туфельки – все то, что с таким трудом она определила для себя в течение долгого дня. Наконец, была нервно смята и отброшена в сторону штора – и по звуку чьих-то быстро замирающих за окном шагов Гардаев сразу узнал улицу, по которой только что прошел за своим подопечным. Его отвлек явственный звук поцелуя, он поспешил обратно – перо даже споткнулось, как ему показалось, об порог, – и, кажется, нарастающий шум его письма как-то их спугнул. Они перестали целоваться и нервно обернулись. Гардаев близко увидел ее крупные чувственные губы – и, улыбнувшись про себя, подумал, что мог бы даже сейчас их поцеловать: и если бы можно было передавать в будущее звуки так же хорошо, как оттуда он их воспринимал, то по комнате поплыл бы звук его почти ископаемого – из прошлого – поцелуя. Как жаль, что от него не требуют иллюстраций, иначе он зарисовал бы сейчас эти губы где-нибудь на полях.

Тот следователь, с каким Гардаев работал в последнее время – считалось, в управлении один из самых перспективных, – особо ориентировал его на мелочи, на первый взгляд невинные, вроде того, как стояли на столе чашки с кофе, сколько было выкурено сигарет – с указанием манеры стряхивать пепел – и что собою представляла пепельница. В управлении могли заинтересоваться подробным описанием обстановки, включая тот диван, на который они присели, и потом, когда он уже для двоих разложен, – даже несколько тех непристойных фраз, которыми обмениваются в постели все, должно быть, любовники.

Все это делалось неспроста: весь расчет был на то, чтобы в беседе с арестованным – сидящим в центре комнаты на круглом стуле, после совершенно бессонной ночи – следователь имел возможность вернуть вдруг в разговоре, между делом, какую-нибудь совершенно невинную из доклада деталь – что сигареты, например, в тот вечер были забыты дома. Многих это ломало сразу – стоило ли отпираться, когда о тебе известно вплоть до таких мелочей.

Ну и наконец ключевой в докладе момент: руки. Следователь считал себя большим психологом – и, надо отдать ему должное, вполне таковым являлся: он полагал, что в эти минуты именно поведение рук лучше всего раскрывает психологическое состояние их общего, так сказать, героя.

Отчет, что лежит на столе, – это целый рассказ о руках того человека: здесь он поработал хорошо. Следователь будет доволен – он описал руки того человека так подробно, будто сам, отпустив персональную машину с охранником, бодро – у чувствующих опасность всегда возникает желание бодриться – шел эту пару кварталов, сунув руки в карманы и даже чуть, кажется, накренившись корпусом вперед. Странно, но в эти часы – пока строчишь свой доклад – чувствуешь себя так, словно составляешь одно целое с тем, на кого ты его пишешь. И Гардаев вместе с ним отметил почему-то показавшейся теплой ручку у подъездной двери – или просто настолько холодны были его руки, – наконец, вместе с ним он привычно сжимал колено этой женщины, желая одновременно и успокоить, и привлечь ее к себе, и кажется, просто задрать платье. Признаться, это было единственное колено, до которого он посмел или захотел дотронуться там, за передней границей времени. Гардаев так и не понял, любил ли ее этот человек или нет, точнее, способен ли он был любить:

потому что тому, кто на это еще способен, трудно было бы в такую женщину не влюбиться.

Доведись случайно встретить ее на улице, возможно, ему бы и в голову не пришло обратить на нее внимание – но только там, сквозь призму времени, такие вещи почему-то разглядываются куда лучше. Так, наверное, бывает с теми, кто погружается в прошлое, отыскивая тени промелькнувших когда-то женщин, – и то же самое, быть может, случилось и с ним самим, стоило ему, следуя по пятам за совершенно чужим человеком, вторгнуться в ее жизнь.

Потому-то Гардаев описывал временами эти руки почти враждебно – что, наверное, одобрительно воспримется следователем. Казалось, единственным, что в сознании Гардаева на какое-то время от этого человека осталось, были только эти вот небольшие, подвижные руки – очевидно, они умели подписывать не только документы, – способные действовать почти бесшумно.

Это доставляло почти боль – отсутствие шума в таком ночном полете равнозначно недостатку освещения. Был момент в первые минуты, как прервался разговор, когда все вдруг погрузилось в тишину, только несколько раз прерванную звуком поцелуя. Потом вдруг появился ее взметнувшийся голос, он увидел их растянувшимися поперек кровати – казалось, она стала шире – и стыдливо отвернулся. На комодe мелко пульсировали ходики, Гардаев взглянул на циферблат и аккуратно вписал в донос точное время. Именно в этот момент придет машина, человека обвинят, и через некоторое время в газетах появится сухое сообщение. Вряд ли ему простится путешествие к своей любовнице через весь город, хотя официальной причиной, как знал Гардаев по опыту, все равно будет что-нибудь другое.

Она казалась все какой-то растерянной и по любой мелочи – чуть чаще, чем было бы надо – выбегала из комнаты. Ненадолго, но часто задумывалась – будто все же чувствовала сейчас какую-то опасность. Ночной гость называл ее Ольгой, хотя она его – никак: будто бы ей было страшно произнести столь высокое имя вслух.

Впрочем, в этом доносе и сам Гардаев ни разу не назвал своего клиента по имени. Правда, причина была уже другой: если в обычных его донесениях жертве полагалось проходить под кличкой – заранее управлением сообщенной, – то в случаях с такими вот высокими особами какими-либо кличками и тем более именами пользоваться было запрещено категорически. Он помнил тот период своей работы в управлении, когда, видимо, его способности только проверялись. Тогда ему доставалась больше всякая номенклатурная мелочь: полагалось называть их просто по фамилиям. Получалось забавно – стоило человеку пойти на повышение и получить хоть какой-нибудь средний пост, как в управлении он мог рассчитывать уже на кличку, а если поднимался еще выше, то получалось, что там, не лишая его пристального своего внимания, как будто совсем забывали это имя.

Гардаев закончил писать и взглянул на часы – совсем скоро ему выходить.

Наверняка Ольга заметит эту машину первой – она выбежит, как обычно, в соседнюю комнату за каким-нибудь пустячком. Все в этой квартире будет так, как он описал, но только в окне, за смятой шторой, точно напротив подъезда, мягко остановится машина с притушенными фарами. Она сразу поймет, за кем, вскрикнет, а те ребята, что в машине, еще пару минут, спокойные и уверенные, не будут из нее выходить.

Конечно, плохо, если она заметит, как машина подъехала. Инструкция, находящаяся в управлении в единственном экземпляре и сочиненная специально для него – под ней стоят подписи только следователя, Гардаева и какого-то еще, видимо, очень значительного человека, – категорически ему предписывала выбирать для прибытия машины такой момент, когда вряд ли их отвлечет шум мотора. Возможно, то самое пикантное время, что как факт изначально интересовало в управлении. Но Гардаев понимал – эта женщина слишком беспокойна, чтобы эту машину упустить: она из тех, кто почувствует ее прибытие сразу. И потом, ему, наверное, понравилось бы – увидеть там, в окне, бледное женское лицо, ее тревожно приоткрытый рот и, кажется, даже почувствовать, как она вскрикнет.

Он был бы совсем не прочь при этом попристутствовать. И даже больше: едва закончив писать, Гардаев вдруг остро почувствовал, что ему захотелось еще раз посетить эту квартиру – вернуться туда, где скоро безжалостно изменится все, и время потечет по другому слову-руслу.

Но только побывать вторично там, куда Гардаев уже запускал щупальцами свой слух, ему еще никогда не бывало дано: после такого ночного посещения это место становилось – пусть для него только одного – уже прошлым. И если даже другой ночью он и делал попытку туда проникнуть, то его встречала мертвая только тишина, черный провал: Гардаев, бывало, чувствовал себя художником, рисующим картины будущего – и тем единственным из них, кому не суждено было свои творенья видеть.

Впрочем, был еще один способ – и Гардаев, в общем-то, подумывал об этом уже давно: можно было попроситься хотя бы простым пассажиром в ту самую машину, что выезжает только по ночам. Если слух его не

способен возвратиться туда, где однажды уже побывал, то, может быть, стоило объявиться там самолично. Подняться вслед за всеми в разоренную квартиру. Но, конечно, первым делом, как только машина встанет у подъезда, отыскать в том окне полуобнаженную женщину, в ужасе глядящую из-за смятой шторы.

Он еще раз взглянул на часы и стал одеваться: в управлении опаздывающих не любят. Было недалеко, всего каких-то пятнадцать минут хода. Он поднялся на нужный этаж и позвонил. Его уже ждали – и удивило, насколько быстро и легко ему удалось обо всем договориться. Следователь даже не спросил, зачем ему это было нужно, и только пару раз с сомнением на него взглянул.

Через несколько дней его ждали на пересечении двух улиц. Гардаев почему-то оглянулся и негромко сказал в опущенное окошко пароль. У него молча проверили пропуск. Он сел где-то с краю, и как-то очень быстро – все его утомительное ночное путешествие заняло не больше десятка минут – они подъехали к нужному дому.

Его озадачило, что в окнах не было света. Какая-то совершенно глубокая в них темнота, – уж кто-кто, а он лучше других знал, что на стекла должен был бы падать хотя бы слабый отблеск из коридора, где горела лампочка и жужжал счетчик: тот самый звук, которого той ночью ему достало, чтобы уверенно определить, сколько лампочек в квартире горит.

Он первым бросился из машины – краем глаза он увидел, как не спеша, разминая ноги, выходили эти ребята, удивленно косясь ему вслед. Кто-то даже кивнул на него главному – остановить? Главный посмотрел на слабо горевшее окно – в нем мелькнуло бледное лицо женщины – и, досадливо поморщившись, молча пошел вперед. На третьем этаже они приостановились перед

уже распахнутой дверью, осторожно вошли. В передней громко, искря, с сумасшедшей какой-то скоростью крутился счетчик, и во всех комнатах ослепительно горел свет. Мужчина с лицом немного старше, чем на его портретах, уже успел одеться и, стиснув зубы, покачиваясь, сидел на диване. Неподалеку от него в едва запахнутом халатике сидела женщина, с ужасом глядящая себе под ноги, и в комнате стояла оглушительная, со звоном, тишина.

Тот чудак, что сел в машину на перекрестке, неподвижно лежал на ковре, с перекошенным, откинутым набок лицом, с распухшими и почему-то кровоточащими ушами, голову вперед – к ней.

Умеющий прыгать

Казалось, все, что он умеет теперь делать – это поглядывать на часы, – и там, во сне, внутренне дрогнув, высоко подпрыгивать перед выстрелом. Стрелки, кажется, замерли совсем, и только секундная непрерывно стремилась по фосфоресцирующему кругу: встань она сейчас, и он, как лишенный зрения, мог бы сойти с ума, – подслеповато щурясь в предутреннее окно, пытаюсь понять, сколько еще осталось.

Он снова оказался прав – в его жизни не будет ничего уже лучше этого предутренного, бодрящего ощущения опасности. Когда Евгений думал о том, что рано утром, возможно, начнется операция захвата, в нем возникал какой-то маленький – много меньше его – сладко вздрагивающий человечек. Казалось, что все эти дни они так и ждут этого вдвоем: Евгений и тот, развращенный страхом, сидящий глубоко внутри него ребенок.

Точнее, втроем. Снайпер, конечно, устроился уже давно – на чердаке дома, точно напротив его окна. В первые дни осады Евгений подходил еще иногда к окну – именно для того, чтобы снайпер мог его видеть, пока не подумал, что тот должен и так все видеть. У него какие-нибудь приборы, и, конечно, туда не пошлют новичка.

Начало этой истории Евгению как будто рассказал кто-то другой, а он, как обычно, плохо запомнил. Это было несколько дней назад: Евгений выскочил из кустов, ударил кого-то из них наугад трубой, с отвращением откинул ее и, засунув руки в карманы, быстро пошел прочь. Потом не выдержал и побежал.

Самое трудное было позади – ему все казалось, что в последний момент, как обычно, что-нибудь будет не так. Он замедлит с ударом, или жертва рассеянно взглянет, и тогда у него опустятся руки. Или даже кто-нибудь незамеченный страшно крикнет вдали, он растеряется, и тогда его скрутят.

Но все обошлось – уходя с места преступления, Евгений спокойно понимал, что сейчас он придет домой и тогда надо будет только несколько дней подождать.

Они, конечно, нагрянут – по тому верному следу, который, впрочем, оставлен им нарочно. Облава наверняка уже началась, и поначалу, в самые первые ее дни, Евгений холодея вспоминал улику – крохотную надежную улику, которая, если его поймут, в зале суда будет лежать на отдельном подносе. Все, пожалуй, только бы на нее и смотрели.

Он обронил ее неспроста – именно затем, чтобы быть уверенным, что рано или поздно они за ним придут.

Иногда ему, впрочем, все же становилось страшно – теперь-то уж ничего не повернешь вспять. Оставалось только ждать. Ожидание успокаивает, или нет – просто тебя заполняет, вытеснив все это ровное, холодноватое

ощущение опасности, от которого бывает так трудно заснуть. Когда Евгений ходил по квартире в темноте – не зажигая свет, чтобы не выгладеть перед тем снайпером совсем дураком, – ему все казалось, что это чувство так же холодновато отсвечивает в глазах. Оно стало для него даже каким-то уютным и греющим, и кажется, тот робкий человечек страха все сидел, свесив пятки, в ногах – даже облачившись уже в его пижаму, – пока Евгений совсем недолго, и только днем, дремал.

Все казалось – вот сейчас бесшумно подъедет машина, – но он-то, конечно, услышит, – захлопают дверцы, через минуту позвонят, и уверенный голос за дверью представится почтальоном. Он вдруг ясно представил окно, пожарную лестницу, ржавые крюки, которыми она была вбита в стену. Лет десять назад, когда Евгений, совсем молодой, прыгал, частенько еще сбивая стул – подождав звонка, в это окно он непременно пытался бежать. Внизу его, конечно бы, уже ждали. Может быть, даже попытались бы встретить на чердаке, через который он, скорее всего, и уходил бы, но если никого, то – спасен: вряд ли кто-нибудь из них догадался бы взглянуть вверх, где в широком прыжке перемахнула бы на соседнее здание его решительная фигура.

Тогда, по своей молодости, он яростно об этом мечтал – побег, розыск, его фотографии в анфас и профиль на стенах. Знал бы дворник, чей равнодушный окурок у плаката он утром сметает! Евгений мысленно представлял свое худое, небритое, за поднятым воротником лицо где-нибудь на фоне провинциального вокзала, где он поменяет поезда. Тогда ему просто хотелось понадежней от них скрыться, не подозревая, какое это может быть захватывающее ощущение: знать, что утром эти люди обязательно нагрянут.

И, конечно, в то время ему было просто не понять, как можно приходить в восторг от одной мысли о снайпере,

третий день попивающем из термоса теплый кофе – на чердаке дома, точно напротив окна.

Даже недолгие сновидения его были пронизаны этим ощущением – как и в том, почти целиком прихваченном из детства, сне: погоня, стрельба, и он, внезапно вынырнув из темноты, пригибаясь, перебегает освещенное фонарем пространство. Пули бьют в штукатурку, в груди нарастает сладковатый детский ужас. Задыхаясь бежит он вдоль стены, и где-то далеко за спиной, припав на колено, целит в него с вытянутой руки молоденький лейтенант. Вот уже легко нагоняет его далекую, спотыкающуюся фигурку прицел, но в решающий момент перед выстрелом в ужасе он все же перепрыгивал мушку...

Все еще в этом безумном полете он просыпался и чутко оглядывал темноту.

Он был давно убежден, что стреляют они по ногам, и во сне это было самое трудное – подпрыгнуть точно перед выстрелом. Сделать это как можно выше, чтобы пуля просвистела под ногами, и всегда главное было – уловить момент, выпрыгнуть раньше ровно на одно мгновение.

В той, уже прошлой, жизни перед сном он всегда старался, ради тренировки, хотя бы несколько раз прыгнуть через стул, завешенный пижамой. Поэтому даже там, во сне, он бывал в хорошей форме, его легкий замечательный прыжок неизменно сбивал с толку преследователей, и как часто ни снилась бы эта погоня, в конце концов он всегда отрывался от них эффектным прыжком в ночь – и тогда особенно хорошо было просыпаться.

И много раньше он чувствовал, что в нем есть что-то особенное. Даже не прыгучесть, а что-то вроде склонности к трюку. И, кажется, это всегда приходилось ему в себе подавлять. И не потому даже, что сочтут ненормаль-

ным, а просто чувствовал, что не стоит рано раскрывать перед ними свои козыри.

Поэтому если сейчас, перед решающей утренней схваткой, Евгений чего-нибудь и боялся, то только одного – что они станут копать слишком глубоко. Ведь, без сомнения, настоящие профессионалы иногда встречаются и там: и что, если его дело попадетя одному из них? В конце концов, так они смогут выйти и на его школу – и сразу тогда для них многое, возможно, прояснится.

Как-нибудь вечером они могут нагряться даже к его теперь старенькому, должно быть, тренеру. Тому самому, который выгнал его из легкоатлетической секции уже через несколько тренировок и потом до самого окончания школы при встрече всегда хмурил брови.

Он просто немного расслабился, когда обнаружил в себе это: умение внезапно подпрыгнуть, поджав ноги, так, что случайные свидетели вокруг чуть ли не задирали головы. Кажется, он и прыгнул-то публично всего несколько раз.

Конечно, ему и до этого доводилось прыгать – так же часто, как и любому мальчишке, проводившему весь день на дворе. Там, сразу за мусорными баками, начинался пустырь – от избытка чувств хотелось прыгнуть только потому, что такой простор. Но во дворе на него никто не обращал особого внимания. И вспоминая это сейчас, Евгений вообще сомневался в том, что прыгал тогда заметнее других. Скорее он был самым обыкновенным мальчишкой, пока на него в свое время не нашло что-то вроде озарения.

Он был тогда совсем еще пацан и даже не то чтобы расслабился, а просто не умел еще скрывать чувств.

В первый раз это случилось именно в школе. Сколько помнит, там всегда искали какие-то таланты, и поэто-

му неудивительно, что какой-то из его прыжков – в общем-то, ненамного выше, чем у остальных – был замечен и зафиксирован. Евгений не удивился бы, если узнал, что только на днях, по прошествии всего этого времени, тот прыжок был аккуратно подшит к его делу: если только они действительно профессионалы.

Впрочем, вполне могло быть и так, что его особенный прыжок мог встревожить этих людей еще тогда. В самом деле, ведь пока он совсем еще мальчишка, но что будет, когда повзрослеет! И если это просто не приходило еще ему в голову, то рано или поздно этот парень поймет, что, если как следует потренироваться, можно выпрыгнуть выше любой пули – ведь стреляют, как правило, по ногам, – и тогда он становится неуязвим.

Он помнит, как кто-то из его озабоченных наставников, вырвав вдруг прямо с урока, привел в секцию, на осмотр. Это, в общем-то, сослужило им плохую службу – Евгений прыгал в каком-то гимназическом зале, у зеркальной стенки, перед какой-то комиссией. Прыгал как умел, и вдруг словно что-то проснулось в душе и мощно, неутолимо развернулось: до этого ему никогда еще не приходилось видеть своих прыжков со стороны.

Он вспоминает сейчас, как в это время озабоченно смотрели на него несколько взявшихся откуда-то, похожих друг на друга людей. Да, теперь ему совершенно ясно: это были они. Похоже, что утром – он верил, что это будет нынешним утром – ему придется действительно непросто – или нет, просто интересней.

Простодушный тренер – из которого они наверняка уже вытрясли все, что можно – взял его, совершенно ни о чем не подозревая. Кажется, он действительно верил в то, что его можно переучить. Что Евгений будет у него брать планку или хотя бы, длинно и совершенно ненужно разбежавшись, прыгать над песком. Кажется, он даже ду-

мал, что мальчик будет у него лучшим. Наверное, поэтому он так хмурил брови, встречая его потом, после того, как через пару занятий выгнал – все-таки, поджав ноги, прыгал-то Евгений действительно лучше других.

Как только его привели в секцию, Евгений почувствовал вдруг неладное. Трудно было пока разобраться, что к чему, и он просто прикинулся простачком: это почти то же самое, что подпрыгнуть. Потом ему часто удавалось дурачить их, прикидываясь простачком, но впервые он провел их именно тогда, делая вид, что с трудом понимает, что от него хотят. Нет, он не пошел против них в открытую. Что-то подсказывало ему, что тренер сам должен выгнать его, – и он не ошибся.

Кажется, для них это было неожиданностью, что они так просчитались в тренере. Он слышал, его уговаривали. Но тут, пусть он был еще совсем мальчишкой, его осенило сделать самый умный в своей жизни ход – неловко свалившись на уроке физкультуры с дерева, что росло у школы, Евгений сломал себе ногу, надолго затянул лечение – и после этого никогда уже не прыгал публично.

И если эти люди действительно обратили на Евгения внимание еще в школе, то единственной их ошибкой было то, что после случившегося о нем забыли надолго.

Но ему-то самому никогда было не забыть, как, поджав ноги, он прыгал у зеркальной стены и отображенный прыжок казался вдвое выше. Евгений закрывался от всех, самозабвенно прыгал через стул, но это не было тренировками – нет, ему просто не терпелось разобраться с этим захватывающим, возникающим в прыжке ощущением до конца. Конечно, этого не должен был видеть никто. Иначе непременно его снова поволокут в секцию, где навсегда отобьют охоту к таким прыжкам – ведь по-

нятно, что, если как следует потренироваться, он сможет прыгнуть выше любой пули.

То, что у него получалось, действительно мало походило на любой из спортивных прыжков – в его легкости, естественности, казалось, было что-то от движения рукой, когда просто поправляешь волосы. Он и получался как одно единое, непрерывной линией, движение.

Евгению казалось, в этом прыжке он раскрывался весь. Даже внешне он был похож на свой прыжок – закрытый, с каким-то секретом, готовым вдруг выплеснуться наружу. Когда в ателье фотограф просил улыбнуться, ему дико хотелось вместо улыбки просто подпрыгнуть. Конечно, Евгений справлялся с собой, но даже сама эта улыбка получалась у него как прыжок – внезапная и легкая.

Евгений охотно признавал в себе это мальчишеством – но в конце концов не потому ли он так неуязвим теперь и почти бессмертен? Евгению казалось, что и существование он свое закончит только тогда, когда этот подзастрывший в нем с тех лет мальчишка неосторожно, в какой-нибудь рядовой попытке, выпрыгнет, вывалится из него в сторону, будто совершив побег. Он грубо, будто из него выпала пружина, плюхнется обратно, и вот тогда-то станет беззащитен: как и все вокруг.

По-настоящему его история, пожалуй, началась даже не в гимназическом зале, у зеркальной стены, а много раньше: в пыльном летнем дворе, когда он прыгал если и не лучше, то, может быть, чуть чаще других. Именно в мальчишеской повадке был этот сухой, летящий прыжок, когда сидящий в засаде дворовый враг вдруг стреляет во весь голос из палочного ружья. На это требовалось в беге, чуть толкнув вниз землю, мгновенно поджать ноги – и особым шиком в этот момент было показать на пролетевшую под ногами пулю. Это всегда удавалось Евгению

настолько легко, что казалось, еще в грудном возрасте, когда на кухне мать роняла кастрюлю, он, лежащий в комнате голышом, сразу подтягивал ноги – если б она знала, что когда-нибудь, может быть, это спасет ему жизнь.

Отца своего Евгений почти не знал. Это был грузный человек в надвинутой на лоб кепке, он появлялся у них всегда ночью и очень редко – чуть ли не раз в несколько лет. Он пил на кухне водку и утром, молча стиснув его, уходил. Когда им рассказывали, как его убили, Евгений, слушая, будто видел это своими глазами – как отец был ранен в ногу и, даже упав, кажется, стрелял в ответ. Именно тогда он окончательно себе уяснил: стреляют они по ногам, и высоко подпрыгнуть перед выстрелом – это вопрос жизни.

Кажется, отец был вором, и смутно ему всегда хотелось пойти по его стопам, но так как-то и не удалось. Когда в семье узнали о его смерти, Евгений несколько дней в своей комнате без устали прыгал через стул, потому что, когда в тебя стреляют, самое главное – вовремя поджать ноги. Вскоре, за несколько дней до совершеннолетия, пришли и за ним, переодевшись санитарями, и мать, стараясь не плакать, провожала Евгения до двери.

Как ни странно, это даже доставило ему какое-то удовлетворение. Наконец-то он попал в первую в своей жизни облаву – пусть застали его врасплох, так что даже не пришлось стрелять по ногам. Кроме того, именно тогда он понял, что, когда на тебя готовят облаву, доверять нельзя никому, даже своей матери.

Когда через несколько лет он вернулся, ничего, кажется, не изменилось. Даже стул в его комнате стоял на том же самом месте, и стоило матери отлучиться, он легко взял высоту первым же прыжком: ведь там Евгений, конечно же, тоже не терял времени даром.

Должно быть, переодевшись санитарями, они полагали, что их уже не раскусить. Но только Евгений, пожалуй,

сразу, стоило им в тот вечер войти в комнату, понял, кто за ним пожаловал.

Они решили, видимо, что пора за ним некоторое время понаблюдать, и Евгений уже привычно прикинулся в той больнице простачком. Да так хорошо, что, улучив минуту, за спиной санитаря иногда мог себе позволить прыгнуть. Поэтому-то, когда наконец вернулся, он был в прекрасной форме – но об этом никто не должен был знать. Даже мать – она, казалось, сильно сдала за время отсутствия сына, и иногда, жалея ее, Евгений думал, что, скорее всего, она тоже из них.

Никто не должен знать, как Евгений умеет прыгать через стул – высоко над спинкой, потому что это и есть его заветный козырь, с которым он уйдет от любой облавы. А она в любой момент могла докатиться до него, потому что он сын вора, или просто потому, что облава захлестывает всех. Он был сыном вора и поэтому-то знал, что облава вечна, она ждет только того, чтобы ты расслабился, и вот тогда-то тебя захлестнет. Ночью, в постели, легко можно было себе представить – в это время суток все понимаешь легче, – как в эту минуту облава бушует в городе, но он был спокоен, потому что перед сном всегда легко брал прыжком стул: высоко над спинкой.

Когда хоронили старенькую мать, кто-то все же застал его в этом прыжке через стул – ведь Евгений знал, что в процессии, в толпе легко могут взять, и легкомысленно решил освежить прыжок. Его спасло на этот раз только то, что все-таки он был ее сыном и, пролетая над стулом, кажется, плакал.

Но это был, пожалуй, единственный его прыжок, который после больницы им удалось увидеть.

Пожалуй, он даже перестарался, скрывая от них свое умение прыгать. Все-таки Евгений был сыном вора, но, кажется, они постепенно забывали об этом, потому что

после смерти матери облава до него так ни разу и не докатилась. Он прыгал все эти годы так же хорошо, как и в молодости, а может быть, даже лучше, потому что облава когда-нибудь все равно докатится до каждого – и тем более до него, сына вора. Ведь когда-нибудь они должны, просто обязаны вспомнить об этом – ему казалось дикостью, если он случайно все-таки выпал из черных списков.

Он считал, что стал взрослее, потому что со временем стал немного иначе понимать свой прыжок. Ему и раньше думалось, что это гораздо больше, чем просто движение. Но только сейчас, предоставленный в эти годы самому себе, он, кажется, понял, что это за состояние.

Евгений чувствовал, что в этом полете он уже больше, чем просто человек. Хотелось зажмуриться, и в этот короткий миг над спинкой стула он становился частью воздуха, частью темноты, и все казалось, что когда-нибудь ему удастся в нужный момент, как-то по-особому расслабившись в прыжке, просто раствориться без следа, – и тогда пусть эти люди палят куда угодно.

Если бы ему вздумалось когда-нибудь подшутить над ними, он просто послал бы в управление почтой свою фотографию, где Евгений так и заснят – иронически улыбаясь, в прыжке. Топорщится костюм, и парит сбитый набок галстук. Они, конечно, ничего не поняли бы, кроме того, что это тот самый сын вора, до которого у них все никак не дойдут руки. Ведь там еще не знают, что у них никогда это не получится, что он легко уйдет в ночь первым же прыжком, или – если это у него выйдет – просто растворится в темном воздухе.

Поэтому-то он никогда и не ленился прыгнуть лишний раз, если такая возможность появлялась. Если бы он потолковал со снайпером на крыше, то, пожалуй, сумел бы ему объяснить, что за один короткий миг полета Евгению

дано почувствовать гораздо больше, чем тому за всю его длинную, многолетнюю полицейскую ночь.

Именно в полете Евгению пришла мысль устроить им когда-нибудь показательный прыжок – хотя бы для того, чтобы было понятно, с кем они имеют дело.

И потом, для того чтобы совершить тот, особый, королевский прыжок – когда он сможет просто раствориться в воздухе, – требуется особое состояние. И прежде всего – надо попасть в облаву, которая почему-то все никак до него не дойдет. Надо петлять и прятаться несколько дней, чтобы наконец, когда его все-таки настигнут, прыгнуть с привкусом опасности во рту – какого у него никогда еще не было, – и тогда все получится именно так, как он и задумал.

Поразмыслив, Евгений решил, что для этого нужно многое: найти какую-нибудь трубу и с темнотой засесть в кустах, поджидая первого из них.

Теперь все это осталось позади – его детство, многолетние тренировки со стулом, серая, скучная жизнь. Евгений был уверен, что они вышли уже на след, что все готово, и даже снайпер, будоража душу, поднялся на свой чердак. Все эти дни он ждал их по-настоящему, как, наверное, не ждал их еще никто, – но, конечно, им этого не понять. Они, верно, тоже не спали всю ночь, и Евгению казалось, что если и была мысль взять его с темнотой, то, будто почувствовав, что здесь что-то неладно, захват решено было отложить до утра.

Но это им не поможет. Ведь именно ради этого, может быть, прыжка Евгений жил все эти годы – с тех самых времен, когда мать на кухне неосторожно роняла кастрюлю, и он сразу поджимал ноги, будто понимая, что это умение ему еще пригодится.

Он даже жалел временами, что они не смогут его взять. Ему бы хотелось увидеть лицо того человека, ко-

торый скрутил бы ему руки. В последнюю ночь, когда Евгению как-то даже удалось на несколько мгновений заснуть, он как будто даже увидел – какой-то заполненный зал, решительное лицо судьи. Сам он сидел, горбясь, на скамье за барьером, а за спиной неподвижно стоял – как на одной ноге – солдат. Он пожалел, что ему предстоит прыгнуть много раньше, а не вот так – из-за барьера, так что солдат не успеет вскинуть винтовку, и лица у всех растерянно вытянутся.

Ему представлялось, что это был бы фантастический процесс – судьи в блестящих мантиях, репортеры, вспышки и чуть ли не карабинеры в дверях. Толпы народа, его осунувшееся лицо – и утешительный графин воды на столе у судьи. На другом будет стоять, в центре всеобщего внимания, поднос с уликой – он почему-то был убежден, что именно поднос. И, конечно, усмехаясь, он бы признал эту улику, вообще сознался во всем – за несколько мгновений до прыжка.

Он проснулся – выпить воды, вкус которой сейчас чуть фальшивил на языке. Казалось даже – из того же графина, что стоял, мерцая, в прозрачном зале его сна, который Евгений только что покинул, ловко надув – как надувал их все эти годы – своего конвоира. Попросил воды и сгинул с первым же глотком, сразу, будто в одном стремительном прыжке, очутившись в ночной своей комнате.

Евгений жалел, что они его не поймают, потому что знал даже то, что делал бы в эти дни до суда. Конечно, он сразу бы, не читая, подписал бы им все, что попросят, и только потом, устроившись поудобнее – как сейчас, в кресле, – не торопясь, перелистал бы свое дело. Он читал бы усмехаясь, иногда удивляясь и, может быть, даже изредка себя узнавая.

Это было бы необычно – взглянуть на себя их глазами. Он прочитал бы все – даже отчеты снайпера с крыши, на

одном из которых наверняка стояло бы кофейное пятно. Это было бы тем более любопытно, что за эти дни, казалось, он почти забыл, что же произошло там, в самом начале дней, с этой трубой: будто кто-то очень плохо все это Евгению пересказал.

Для него все это осталось за порогом – он помнит только, что откуда-то вернулся, что иногда у него будто бы светились глаза, хорошо помнит снайпера, незаметно поглядывающего с чердака. А главное, помнит вытеснившую все, поющую в нем струну тревоги, – так что оставалось только удивляться, почему же он не сделал этого раньше.

Листая дело, он, возможно, вспомнил бы и все остальное – и будет чудесно заново все переживать, и, сужая круги вместе со следствием, установить свои адрес, фамилию, имя – которые он, пожалуй, тоже сейчас подзабыл. Это будет славно – проследить, как ухватившись за улику, они выйдут на него – и первым делом пошлют на крышу снайпера.

Евгений снова посмотрел на часы, и в какой-то миг ему показалось, что все стало наоборот. Что это во сне он сидит и смотрит на часы, а на самом деле должен сейчас, задыхаясь, бежать вдоль своей бесконечной, белой, хорошо освещенной прожекторами стены – не об этом ли мечтал, – пытаясь понять, когда ему прыгать.

Евгений встал, подошел к окну – может, он все-таки сумеет увидеть снайпера, – и, должно быть, тот, оставив свой бесконечный кофе, именно в этот момент дал отмашку. Тут же с треском рухнула внезапно выбитая дверь, все смешалось, сон и явь, по коридору загрохотали шаги, и на мгновение все стихло. Затем почти беззвучно отворилась в его комнату дверь, разбежались по спине, почувствовав наведенный ствол, мурашки, и мягко, почти добродушно кто-то из них сказал: «Руки».

Он медленно, уверенно, почти заученно стал их поднимать – со стула за спиной мягко опала в этот миг пижама, и в нем скукоживался, таял тот уже ненужный, вздрагивающий человечек. С безумной скоростью – куда быстрее, чем поднимались руки – его заполняло заветное, тонко трепещущее где-то в паху чувство, и будто появилась во рту горькая таблетка, и вдруг показалось, что кто-то, тенью перегнувшись из-за плеча, странно заглядывает ему в рот. Пусть впервые, он сразу узнал этот вкус и слегка обернулся. Он заметил, как предупредительно дрогнуло вверх дуло, и понял, что пора. Евгений привычно прыгнул, одним давно отточенным движением, даже не набрав воздуха в грудь, – вряд ли он будет ему теперь нужен. Его встретила загремевшая, затрещавшая пустота, и он почувствовал, что, возможно, даже слишком высоко взял установленную им перед собой планку. Евгений сразу увидел человека, тот, сощурившись, смотрел почему-то в сторону, рядом стоял недопитый кофе, и он вдруг понял, что снайпер его уже не видит – впервые за последние несколько дней.